

Чалмаев В.А.

Повесть «Котлован» (1930) — рекем по утопии

Относительно небольшая повесть Андрея Платонова «Котлован», созданная в прямом смысле на рубеже 20–30-х годов (с декабря 1929 по апрель 1930), по праву считается самой мыслемкой, загадочной. Даже перевести название ее, учитывая многозначность его смысла, на другой язык весьма трудно. На английском с послесловием И. Бродского она вышла под названием «The Foundation Pit», т.е. «яма под фундамент». Поляки решили перевести ее как «Выкоп», то есть огромная выемка, выкопанная воронка, где землекопы стремятся и заложить фундамент, и до чего-то важного, глубинного «докопаться».

Движение вглубь, расширение котлована, своеобразное втягивание пространства, людских судеб, даже прошлого в эту воронку котлована — вот сюжет повести. Бригада землекопов (Чиклин, Сафронов, Козлов и др.) вместе с проектантом «Котлована» инженером Прушевским не просто роют, они «перелопачивают», проверяют все свои былые верования, основы жизни, переоценивают смысл жизни и создают идеальное будущее по заданному свыше — и во многом выношенному ими же! — проекту сотворения нового мира, нового «братского» его устройства. «Котлован» — это поиск глубины в себе. Они хотят «навек спаситься в пропасти котлована». Так двойственно, пафосно-иронически, с акцентом самоотрицания пишет Платонов обо всем смысле труда в «Котловане». И рядом с ним во внезапно возникшем колхозе идет такое же свирепое «рытье».

Котлован и деревня явно соединены через пространство изобличающей мысли Платонова, погруженного в собственную биографию, в очарования и разочарования своего понимания революции.

На первый взгляд ничто не предвещает перемещения героев и всего действия из котлована в колхоз им. Генеральной линии.

Все первые главы (впрочем, глав как повествовательных единиц в повести нет, есть орбиты движения героев) посвящены котловану как стройплощадке и одновременно дискуссионной сцене.

Явно бросается в глаза одна подробность: в повести, лишенной разделов, герои непрерывно *бродят, перемещаются* с места на место и беседуют, спорят. К ним приезжает на тележке безногий инвалид Жачев, апостол равенства, то и дело реквизирующий продукты у бюрократа Пашкина *Льва Ильича*. Сюда же, в «Котлован», как в кипящий котел споров, дискуссий, введен, перемещен и традиционный платоновский тип «спасителя», праведника, очередного Пухова с обостренной потребностью в истине — Вошев. Он по ходу дела безуспешно спасает девочку Настю, становится воплощением контроля, тревог и надежд самого Платонова.

Да и как же не перемещаться туда-сюда землекопам, Вошеву, даже Пашкину, как не тревожиться в колхозе даже *Активисту*, который всех держит в страхе (явный намек на антихриста, он не имеет ни имени, ни лица), когда запаздывает директива сверху, когда можно впасть и в «хвостизм», и в «переусердие» (а за это в 30-е годы сразу следовало наказание)?! В сознании Платонова, имевшего свой гуманистический проект преобразования страны, жило ощущение грандиозной опасности перегибов, бюрократического, грубого «перелопачивания» России: «...все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: *начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось одно направление*».

Все герои явно встревожены, наделены какой-то невероятной пытливостью. Что мы строим, по счастливому ли проекту? Или усердие труда заведет нас в тупик? Не затронем

ли мы каких-то основ, корневой системы России? И испортим... наши же мечты? «Котлован» не зря называют реквиемом по утопии, прощанием с мечтой.

Платоновский конфликт между пытливыми созерцателями и слепыми «делателями будущего» предельно остр. Писатель часто срывается на крик и стон.

Обратите внимание на одну подробность повести. Выброшенный из своего дома при раскулачивании («ликвидированный как класс») крестьянин кричит из снега:

«— Ликвидировали? – сказал он из снега. – Смотрите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!»

Это выглядит прямым обращением к Сталину. Сейчас, когда становится известной изнаночная сторона литературного процесса (в том числе и донесения лиц, записывавших разговоры писателей в бытовой обстановке), многое в сюжете, пафосе «Котлована» становится еще более понятным.

Строители докопались до странной глубины, обнажили какие-то корни традиций, исконной народной психологии. Они дорылись до некоей пещеры, в которой деревенские жители хранили заготовленные заранее, уже «облежанные» гробы. Их отдали крестьянам, связали затем веревкой, как лодки, и посланец деревни «Елисей уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю житейскому».

По следу гробов пошел в ту же деревню, как раз к раскулачиванию, Вощев и все остальные землекопы.

Стихия символов Платонова — грандиозная фреска, напоминающая, как и отплытие плота, прощание раскулаченных с оставшимися, фрески Страшного суда, национальной трагедии, — говорит о том, до каких же вечных основ «дорылись» в процессе ломки, перелопачивания герои повести.

В финале повести, сраженный бюрократизмом, упрощением, искажением высокой мечты, «серьезно опечалился» Жачев: «Эх, горе мне с революцией... Где же ты, самая пуцая стерва? Иди, дорогая, получить от увечного воина».

Сам Вощев, осознав, что классового тепла, солидарности для хрупкой девочки Насти было мало, что ей нужно было простое человеческое, а лучше материнское тепло, в итоге уже не знает, «где же теперь будет коммунизм на свете».

Образ Насти — это попытка найти идеального, лучшего человека... позади себя, в детстве, своем и чужом. Ведь разрыв с детством, детей с родителями и взрослых с будущим временем, «созревающим» в детях, — это раскол единого человека, его опустошение. Детство — страна надежды, преодоление одиночества, бессмыслицы жизни.

Как видим, котлован как замкнутое пространство, амфитеатр, сценическая площадка, спускающаяся куда-то вглубь, разрезающая множество пластов исторической, нравственной жизни России, — это очень условное, многосоставное объемное целое. В нем все перевернулось и еще никак не укладывается. Или укладывается весьма уродливо, не так, как хотел бы Платонов, главный антагонист всех активистов, пашкиных, пламенный носитель драматичнейшего противоречия между тем, *что свершается*, и тем, *о чем он мечтал*.

Котлован, а точнее грубая перестройка исторических основ бытия, уже отделил Чиклина, трепетно, почти по-матерински оберегающего Настю, от демагога Сафронова. Весьма сложны взаимосвязи Чиклина и инженера Прушевского: оба любили в прошлом мать этой девочки... Совершенно не способен без каких-то утрат войти в новый мир интеллигент Прушевский, и потому он живет с мыслью о самоубийстве. Завершены, но внутренне мертвы лишь образы откровенных бюрократов Пашкина и Активиста.

Многое в характерах персонажей, собранных в «Котловане», в потоке их мнений, напряженных исканий эпохи, раскрывают уже их имена. Например, сама фамилия Вощева, скитальца, гонимого жаждой понимания смысла жизни всего народа, эпохи, ассоциируется с такими понятиями или образами, как «вотще» (напрасно), «попал как кур в ошип», но одновременно, как заметил исследователь творчества Платонова А. Харито-

нов, «имя его отзывается в таких постоянных мотивах, как *вещь — существование — всеобщность — общий — возвращение — всеобъемлющий — вещественный*.

Фамилия «Прушевский» польского происхождения, этимологически связана со словами *пороша, прах, порох, пылинка*. Прушевский, как и Воцев, хочет понять смысл гигантского перелома в жизни, созидания, но, в отличие от Воцева, уже испуган ею, готовится к смерти, ощущает, что весь принадлежит прошлому, праху.

Огромный смысл имеет явившийся (буквально вбежавший) «из полевой страны» мужик с желтыми глазами, который даже не говорит о своей точке зрения, а *скулит*, позволяя всем догадываться о том, что сломалось в его жизни.

Весьма сложен и библейский образ плота, и условный образ медведя-молотобойца (кузнец — это воплощение пролетариата), способного и удушить иного «зажиточного», вынюхать контру, но и тоскующего сильнее всех после жестокостей. В зверином сердце гораздо больше человечности, чем в том же Активисте. Медведь — это тоскующий делатель будущего.

Еще более сложен для понимания образ девочки Насти, этой неестественно умной, часто лукаво поддельвающейся под общий стиль мировосприятия посланницы из Прошлого («главный» — Ленин, а второй — «Буденный», меридианы — «это прутья, загородки, чтобы буржуи к нам не перелезли», и т. п.). В последующем, в повести «Ювенильное море», Платонов выведет столь же условную «старушку Федератовну» (то есть Федерация), а в пьесе «14 красных избышек» создаст условную деревню из 14 избышек, то есть республик, входивших тогда в СССР.

Платонов ощущал, что время его еще услышит, надеялся на чудо понимания своих тревог. Иначе трудно объяснить предельность, заострение — далеко превосходящее возможности разрешенной сатиры — его гротескных красок.

Провидческий смысл платоновских тревог, запросов совести, если учесть нашествие всякого рода «активистов» в последующие эпохи, их способность, как говорит Воцев, «весь класс испить», то есть обесплодить, иссушить, постоянно возрастает. Платонов — вечный современник испытаний России.

Он вечно будет напоминать всем потрясателям основ России, кротам, грызущим ее корневую систему: не навредите ей, не путайте обновление с грубым разрушительством, «перелопачивая» ее бытие, не идите «по следу гробов». Если это случится, то очередной котлован станет могилой мечтаний, надежд исковерканной страны.

В наши дни стало очевидно, что Андрей Платонов, пришедший в литературу сразу после Октября 1917 года, переживший революцию, коллективизацию, первые пятилетки, всю жизнь строил какой-то свой фантастический мир, свой социализм, в котором не исчезала бы душа, песня. В его мире должна была умножаться мера дружества, излишней стала бы орда бюрократов, «замещающих» народ у власти, опекающих его. «Ведер и паровозов можно наделать сколько угодно, а песню и волнение сделать нельзя. *Песня дороже вещей, она человека к человеку приближает*».

Платонов, как и все великие русские художники XIX века, явно имел свой проект предвидимого, желаемого будущего. И пусть не смущает сейчас никого, что он называл свой «золотой век» чаще всего на общепринятом тогда языке — коммунизмом. «Мы говорим словами теми, что нам подсказывает Время»... Говоря на языке Маяковского, он все время пытался любить и любил, особенно в годы войны, то Отечество, «которое есть», но по-настоящему влюблен был в то Отечество, «которое будет»... по его Проекту!